

1. Bahtin M.M. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kultura Srednevekovyia i Rennsansa / M. : Hudozh. lit., 1990.

2. Ventslova T. K demonologii russkogo simvolizma [Elektronnyy resurs]. URL : <http://silver-age.info/k-demonologii-russkogo-simvolizma-1> (data obrasheniya: 08.09.2013).

3. Dolgenko A.N. Hudozhestvennyy mir russkogo dekadentskogo romana rubezha XIX – XX vekov : dis. ... d-ra filol. nauk. Volgograd, 2005.

4. Dolgenko A.N. Hudozhestvennyy mir russkogo dekadentskogo romana rubezha XIX – XX vekov : avtoref. dis. ... d-ra filol. nauk. Volgograd, 2005.

5. Zubar D.A. Meditsinskiy diskurs v romane Zh. K. Gyuismansa «Naoborot» i povesti L.N. Tolstogo «Smert Ivana Ilicha» // Lliteratura v kontekstl kulturi: zb. nauk. prats. 2011.Vip. 22(2). Kiiv: Vidavnichiy dIm Dmitra Burago, 2012. S. 129–138.

6. Zubar D.A. Motiv borbyi s veschnym dvoynikom v povesti «Smert Ivana Ilicha» L.N. Tolstogo i romane Zh.K. Gyuismansa «Naoborot» // VIsn. Lugan. nats. un-tu Im. Tarasa Shevchenka. FilologIchnI nauki. 2012.№ 12 (247). Ch. II. S. 123–130.

7. Zubar D.A. Motiv smerti dvoynika v russkom i evropeyskom dekadentskom romane // Lliteratura v kontekstl kulturi: zb. nauk. prats. 2011.Vip. 21 (2). Kiiv: Vidavnichiy dIm Dmirta Burago, 2011. S. 120–127.

8. Zubar D.A. Poetika dvoynichestva kak voploschenie karnavalnoy traditsii v trilogii F. Sologuba «Tvorimaya legenda» // VIsn. Lugan. nats. un-tu Im. Tarasa Shevchenka. FilologIchnI nauki. 2013. № 12 (271). Ch. III. S. 206–214.

9. Sologub F. Melkiy bes . M. : Pravda, 1989.

10. Sologub F. Chervyak // Ego zhe. Melkiy bes. M., 1989. S. 281–302.

11. Brodsky P. P. The Beast behind the Bath-House: “Belaja Sobaka” as a Microcosm of Sologub’s Universe // The Slavic and East European Journal. 1983.Vol. 27. No. 1. P. 57–67.

12. Hustis H. Wicked Tongues and Alternative Lifestyles: Lyudmila, Peredonov and the Role of Language in Sologub’s The Petty Demon // The Slavic and East European Journal. 1996. Vol. 40. No. 4. P. 632–648.

13. Ivanits L.J. The Grotesque in Fedor Sologub’s Novel “The Petty Demon” // Russian and Slavic Literature. Cambridge, Mass., 1976. P. 137–174.

14. Mihailovic A. Corporeal Words: Mikhail Bakhtin’s Theology of Discourse Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1997.

15. Mills J. M. Expanding Critical Contexts: Sologub’s Petty Demon // The Slavic and East European Journal. 1984.Vol. 28. No. 1. P. 15–317.

Death by incarnated word in the story by F. Sologub “Worm”

There are considered the peculiarities of verbal figurativeness in the story by F. Sologub “Worm”, which is based on the destructive potential of a word characterized as death by word or killing by word. By the example of transformation of the carnival word in the story “Worm” there is substantiated the thesis about anticarnival world view in carnival categories as the idea dominant of the decadent prose.

Key words: decadent prose, verbal figurativeness, carnival tradition, word incarnation, flesh, motive of killing by word.

(Статья поступила в редакцию 16.01.2014)

В.В. КОМПАНИЕЦ
(*Волгоград*)

PRO ET CONTRA ПСИХОЛОГИЗМА: «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА» М. БУЛГАКОВА

Предпринята попытка нетрадиционного рассмотрения психологизма раннего М.А. Булгакова. Без отрицания значимости аналитического начала в раскрытии внутреннего мира героев доказывается, что булгаковский антипсихологизм заключает в себе высокий позитивный смысл, сопряженный с экстремальностью условий, отраженных в автобиографических рассказах писателя.

Ключевые слова: литературный характер, художественный психологизм, личность, автобиографизм, психологическая модель поведения.

Из всего творческого наследия М.А. Булгакова «Запискам юного врача» – циклу рассказов, опубликованному в 1925–1926 гг., повезло, к сожалению, в наименьшей степени. Частично изданный роман «Белая гвардия» (1925), как и «Дьяволиада» (1924) и «Роковые яйца» (1925), а также интригующая история с МХАТовской постановкой «Дней Турбиных» «перетянули» на себя внимание читателей и критиков. Данная ситуация не только сохраняется по сей день, но и усугубляется: на фоне всемирно известного «закатного» романа «Мастер и Маргарита» автобиографические рассказы молодого автора пред-

ставляются лишь обещанием блистательного будущего. Между тем каждое из произведений («Полотенце с петухом», «Крещение поворотом», «Стальное горло», «Вьюга», «Тьма египетская», «Пропавший глаз», «Звездная сыпь») по-своему оригинально, что нашло выражение, в частности, в авторском истолковании традиционного для российской словесности феномена художественного психологизма.

В самом деле, прочно заняв центральное место на аксиологической шкале российского литературоведения XX в., психологический анализ в литературе приобрел практически непоколебимый статус одного из показателей художественного прогресса, основанием чего стала знаменитая «диалектика души» Л.Н. Толстого. Напомним общеизвестное: согласно Н.Г. Чернышевскому, автор первой части автобиографической трилогии чутко уловил «<...> как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию <...> и силе сочетаний <...> переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует <...>» [7, с. 425, 422]. Из подобной интерпретации следует, что самоанализ литературного персонажа стимулирует его нравственное становление, духовное прозрение («рост души»), общий процесс истиноискательства.

Что же принципиально нового в этом плане дают булгаковские «Записки...»? Двадцатичетырехлетний молодой человек, два месяца назад получивший вузовский диплом и оказавшийся единственным врачом в глухой сельской больнице (кстати, прекрасно оборудованной стараниями своего предшественника), почувствовал себя на «необитаемом острове»* (с. 124). «Где-то очень бурно неслась жизнь», а герою все кажется, что его ждет беспросветное одиночество «во всем мире со своей лампой» (с. 141). «Прощай, прощай надолго, золото-красный Большой театр, Москва, витрины... ах, прощай» (с. 72). Порою деревню вовсе заносило снегом, и герой, «<...> лишенный даже свежих газет, единственной связи с «большим» миром, «долгими вечерами <...> мерил и мерил свой кабинет» (с. 125). Понятно, что подобные обстоятельства волеиневолей активизируют саморефлексию. Герой, обдумывая свое положение, действительно испытывает острое противоборство чувств и мыслей, выдвигая аргументы и одновременно

но опровергая их. «Я ни в чем не виноват, – думал я упорно и мучительно, – у меня есть диплом, я имею пятнадцать пятаков. Я же прежде еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались и говорили: “Освоитесь”. Вот тебе и освоитесь» (с. 75). И тут же сознание наполняется страхами: «А гнойный аппендицит? Га! А дифтерийный круп у деревенских ребят? <...> Роды-то забыл! Неправильные положения. Что ж я буду делать? А? Какой я легкомысленный человек! Нужно было отказаться от этого участка» (с. 75). Разумеется, в подобных внутренних размышлениях толстовский элемент весьма ощутим, поэтому вряд ли имеет смысл пересматривать, тем более отрицать укоренившееся (даже безотносительно к конкретному булгаковскому произведению) положение о традиции классического (прежде всего толстовского) психологизма как нечто само собой разумеющееся. Пересматривать и отрицать, конечно, резона нет, но следовать древней мудрости – *audiat et altera pars* – всегда целесообразно. Давно замечено: то, что разумеется *само собой*, чаще всего таковым не является, требует корректировки, иногда весьма значительной.

И действительно, очень скоро герой поймет, что подобные минуты одиночества, стимулирующие процесс самоуглубления, будут казаться минутами истинного счастья. После ежедневного многочасового приема (человек по сто), возвращаясь из больницы, молодой доктор, по собственному признанию, «не хотел ни есть, ни пить, ни спать» (с. 100). А еще операции, поездки к безнадежно больным, иногда безрезультатные. Конечно, в подобные минуты, может, и вспоминался Лев Толстой, но совсем в другом контексте: «Ему хорошо было в Ясной Поляне <...> его небось не возили к умирающим...» (с. 108). Какая уж тут «диалектика души»?

И все-таки «Записки...» – от начала до конца по-настоящему психологический документ, причем уникальный. Однако, доказывая эту уникальность, мы должны дифференцировать само понятие психологической традиции, связывая его не только с категориями творческой индивидуальности и художественного мастерства, но и с развитием логико-философской мысли. С этой же точки зрения все далеко не однозначно.

Конечно, было бы более привычно противопоставлять душевную стойкость эмоционально восприимчивого и постоянно сомневающегося в правильности своих действий бул-

* Здесь и далее «Записки юного врача» М. Булгакова цитируются по источнику [1] с указанием страниц в круглых скобках.

гаковского персонажа, несущего, тем не менее, реальное добро людям, жесткой целеустремленности тех строителей нового мира, эмблемой которых стала так называемая кожаная куртка. Так и хочется сказать: *имя им легион*. Однако абсолютно ли данное противопоставление?

Да, эмоциональная жизнь в пореволюционной России была «вне закона», поскольку свидетельствовала о слабости человеческой природы, неумении подчинить свое Я общим целям мирового масштаба. В этом случае исследователи говорят об *антипсихологизме*, который оценивается крайне негативно. Однако именно эта, справедливая по отношению только к отдельным авторам и персонажам, негативная оценка требует с позиций «большой» истории пересмотра.

В самом деле, в большинстве случаев мы упускаем из виду, что психологические и антипсихологические тенденции на определенном этапе развития русской классической литературы (а именно в 1850 – 1870-е гг.) не только развивались параллельно, но и восходили к одному источнику: к представлениям о человеческом мышлении как совокупности психических процессов. Достаточно сослаться на того же Чернышевского, с одной стороны, давшего непревзойденную характеристику метода «диалектики души», с другой – выступившего с трактатом «Антропологический принцип в философии», который послужил поводом обвинить систему «нравственного утилитаризма» (так определена суть трактата) в отсутствии понятий о достоинстве личности, «правил и целей ее деятельности» [8, с. 123].

Далее. Ф.М. Достоевский, считая главной задачей реализма «найти в человеке человека», упорно отрицал собственный психологизм: «Меня зовут психологом: неправда <...>» [3, с. 65]. Может быть, несколько преувеличивая, но Д.С. Лихачев назвал автора «Братьев Карамазовых» «самым непсихологическим писателем из всех существующих» [6, с. 93]. И, пожалуй, мнение классика XIX в. о «вреде» психологизма поддержали бы религиозные мыслители и богословы. Так, отец Иоанн, архиепископ Сан-Францисский (Д.А. Шаховской) отмечал невозможность (и ненужность) психологизировать крайние проявления зла [4, с. 343].

Даже этих примеров достаточно, чтобы утверждать: в философско-методологическом плане оппозиция психологизм / антипсихологизм не абсолютна и не может иметь единственного решения. Суждение известного ли-

тературоведа, согласно которому психологический анализ «пользуется разными средствами» и осуществляется в разных формах [2, с. 330], вполне распространимо и на противоположную тенденцию, если не сводить последнюю к апологии энергично функционирующих «кожаных курток». Антипсихологизм может стать феноменом высокого уровня. Не отрицая существования внутреннего мира личности со всем богатством и многообразием душевных движений, он способен подняться над ними до тех высот, где оттенки чувств и мыслей уже не имеют значения, а четко вырисовывается доминирующая модель поведения, основанная на разграничении истинного и ложного, добра и зла. Именно поэтому мысль Достоевского о «вреде» излишнего психологизирования, особенно когда воспроизводятся крайние формы зла, поддерживают религиозные мыслители и богословы [4, с. 343]. Но как быть в этом случае с ранним М. Булгаковым – продолжателем великой (толстовской) традиции и одновременно представителем новой эпохи – эпохи конкретного целенаправленного действия? Обратимся к тексту.

Темной ноябрьской ночью доктор проснулся от «грохота в двери» (рассказ «Стальное горло»). Две деревенские женщины с искаженными лицами, мать и бабушка, привезли умирающую от дифтерийного крупа трехлетнюю девочку. Ребенок своей ангельской красотой (громчайшие синие глаза, «кукольные» щеки, крупные кольца волос цвета «почти спелой ржи») заставил на какое-то мгновение забыть и «оперативную хирургию», и свое одиночество, и «негодный университетский груз». Однако девочка *уже* умирала. «Она умрет через час», – подумал я совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось...» (с. 93). Спасти могла только срочная операция: «Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить <...>», – объяснял доктор, но ни мать, ни тем более бабушка, надеявшиеся на чудодейственные лекарственные «капельки», согласия категорически не давали: «<...> как же так, горло девочке резать?».

«– Не согласна! – резко сказала мать.

– Нет нашего согласия! – добавила бабушка.

– Ну, как хотите, – глухо добавил я и подумал: «Ну, вот и все! Мне легче. Я сказал, предложил <...> Они отказались, и я спасен»» (с. 95–96).

На наш взгляд, воспроизведенный диалог, подкрепленный внутренней речью повествователя, целиком лежит в области аналитического психологизма, причем в его расширен-

ном понимании. Во-первых, настойчивое получение согласия на операцию, в исходе которой сам врач не уверен, – это метод психологического воздействия, основанный на эмоциональном отношении к гибели ребенка. Логика другой стороны также аргументирована психологически. Если для профессионала хирургическое вмешательство – единственный выход, то для сельских женщин, привыкших надеяться на чудодейственную силу «капелек», нож хирурга – практически прямое убийство: «Да разве же это мыслимо?» (с. 96). На эмоционально-психологическом уровне происходит и восприятие собеседниками друг друга: «Мать посмотрела на меня, как на безумного <...> – Уйди, бабка! – с ненавистью сказал я ей» (с. 95). Далее. Консенсус также ищется в душевно-эмоциональной сфере: «Как вам не жаль?» К тому же аргументация доктора опирается на визуально зримую эмпирику приближающейся смерти, что вписывается в опыт сельских жителей: «– Ну, скорей, скорей соглашайтесь! Соглашайтесь! Ведь у нее уже ногти синеют» (с. 96). Более того, мать невозможность смерти девочки объясняет еще и пожитейски элементарно: «Мужа нет. Он в городе. Придет, узнает, что я наделала, – убьет меня!» (с. 96).

Неоднозначность описанной ситуации, таким образом, обусловлена не только «тьмой египетской», т.е. темнотой и невежеством нем умением женщин, но и внутренними сомнениями самого доктора, психологически разделявшего страх и даже ставшего на их сторону: «А если они согласятся?» – мелькнуло в его сознании, и психологически давя на собеседниц, он «внутри себя» думал: «Что я делаю? Ведь я же зарезу девочку» (с. 95).

В принципе, обе стороны правы. По существу речь идет о рискованном эксперименте с равными шансами на успех и провал. Однако операция все же свершилась, и девочка «со стальным горлом» получила «вторую» жизнь, но не благодаря душевным переживаниям близких, тем более – сомнениям врача, а вопреки им. Психологического выхода из данной ситуации объективно не было, как не было бы и успеха, если бы не вступил в свои права антипсихологизм, предполагающий немедленное действие. Он маркирован в «Записках...» «неизвестной силой» (с. 81), реализующей себя через *чужой голос*. В ту критическую минуту, когда доктор уже готов был уступить сопротивляющимся женщинам, «другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил: – Что вы, с ума сошли? Как это так не согласны? Губите

девочку» (с. 95). В рассказе «Полотенце с пухом» тот же суровый голос, исходящий из уст врача и одновременно «чужой» для него, еще более властно вторгается в сферу мыслей и чувств: «Вот как потухает изорванный человек, – подумал я, – тут уж ничего не сделаешь... Но вдруг сурово сказал, не узнавая своего голоса: – Камфары» (с. 79).

Конечно, рациональнее всего объяснить побуждающее к действию начало «голосом» врачебного долга, а всю ситуацию – феноменом раздвоения между ним и естественными сомнениями начинающего эскулапа. Однако именно этого раздвоения нет, поскольку в описанных случаях молодой доктор прав и как человек, и как профессионал, т.к. весы жизни и смерти больных находились или в состоянии абсолютного равновесия, или перевешивали на негатив, что, кстати, хорошо понимали окружающие. Голос извне идет не от истины (она тоже двойственна) и, конечно, не от психологии, а от сверх-я, которое активизируется в экстремальных условиях. А на этом уровне душа и сознание неразложимы на отдельные составляющие.

Более того, создается впечатление, что над традиционным психологизмом Булгаков не прочь поиронизировать. Так, при описании будничного состояния персонажа употребляется глагол *петь*: «демонским голосом пел страх», «усталость напевала» (с. 76). Минуты озарения, как правило, приходят тогда, когда нужда во врачебной помощи отпадает сама собой: «Голову вдруг осветило: “Это перелом основания черепа <...>” Загорелась уверенность, что это правильный диагноз. Осенило», «Тоска обвилась вокруг моего сердца», «похолодело привычно под ложечкой», «почему-то неприятно мне стало» (с. 107, 77, 106, 109) – подобные клише, как правило, не приходят во время работы, т.к. «голос» не знает компромиссов; он суров, может быть сильным, хриплым, злобным, но всегда повелевающим. В таком аспекте антипсихологизм ближе всего к «категорическому императиву» И. Канта: «*Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом*» [5, с. 195]. А этим всеобщим законом может быть только максима реального дела как безусловный принцип человеческого поведения – особенно в экстремальных условиях.

Тем не менее было бы неверно делать вывод о дискредитации традиционного психологизма в пользу антипсихологизма в рассказах раннего Булгакова. И тот, и другой – равнове-

ликие составляющие совокупного мира булгаковской прозы, что, на наш взгляд, наглядно показали «Записки юного врача».

Литература

1. Булгаков М.А. Собрание сочинений : в 5 т. М. : Худож. лит., 1989. Т. 1.
2. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л. : Сов. писатель, 1977.
3. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Л. : Наука, 1984. Т. 27.
4. Иоанн Сан-Францисский, архиепископ. Избранное. Петрозаводск : Изд-во «Святой остров», 1992.
5. Кант И. Собрание сочинений : в 8 т. М. : Мысль, 1994. Т. 4.
6. Лихачев Д.С. Литература – реальность – литература. Л. : Сов. писатель, 1971.
7. Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 15 т. М. : Гослитиздат, 1947. Т. 3.
8. Юркевич П.Д. Философские произведения. М. : Правда, 1990.

* * *

1. Bulgakov M.A. Sbranie sochineniy : v 5 t. M. : Hudozh. lit., 1989. T. 1.
2. Ginzburg L.Ya. O psihologicheskoy proze. L. : Sov. pisatel, 1977.
3. Dostoevskiy F.M. Polnoe sbranie sochineniy i pisem : v 30 t. L. : Nauka, 1984. T. 27.
4. Ioann San-Frantsisskiy, arhiiepiskop. Izbrannoe. Petrozavodsk : Izd-vo «Svyatoy ostrov», 1992.
5. Kant I. Sbranie sochineniy : v 8 t. M. : Myisl, 1994. T. 4.
6. Lihachev D.S. Literatura – realnost – literatura. L. : Sov. pisatel, 1971.
7. Chernyishevskiy N.G. Polnoe sbranie sochineniy : v 15 t. M. : Goslitizdat, 1947. T. 3.
8. Yurkevich P.D. Filosofskie proizvedeniya. M. : Pravda, 1990.

Pro et contra of psychologism: “Notes of the Young Doctor” by M. Bulgakov

There is made the attempt of non-traditional consideration of the psychologism in the early M.A. Bulgakov's works. Not denying the significance of the analytical origins in describing the inner world of the characters there is proved that Bulgakov's antipsychologism includes high positive sense with extreme conditions reflected in the autobiographical stories by the writer.

Key words: literature character, artistic psychologism, personality, autobiography, psychological model of behavior.

(Статья поступила в редакцию 7.02.2014)

А.А. КОЗАКОВА
(Ростов-на-Дону)

КОНЦЕПТ «ТОСКА» В ПОЭТИЧЕСКОМ ИДИОЛЕКТЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ

Исследуются изменения в семантической структуре слова тоска в поэтическом идиолекте М. Цветаевой. Устанавливается, что сдвиги в значении данной лексики зависят от оценки поэтического дара как главной сущностной составляющей личности. Доказывается, что цветаевское восприятие тоски противоположно узальному.



Ключевые слова: тоска, идиолект, семантический сдвиг, поэт.

Понятие «тоска» традиционно включается в число значимых для русской культуры концептов, по мнению многих исследователей, занимает в ней ведущее место. Изучением этого концепта занимались А. Вежицкая, Е. Димитрова, В. Колесов, Ю. Степанов, Е. Урысон, А. Шмелев и мн. др. [1; 2; 4; 10; 14; 15; 19]. А. Вежицкая отметила важность концептов «Тоска», «Печаль», «Грусть» для русского языкового сознания; Ю.С. Степанов, посвятивший раздел своей монографии этимолого-философскому описанию концепта «Тоска», тесно связал данный концепт с понятием страха; В.В. Колесов исследовал названный концепт как историк языка; А.Д. Шмелев анализировал современное восприятие данного концепта носителями русского языка. В различных аспектах концепт «Тоска» продолжает исследоваться в диссертациях и научных статьях.

В связи со сказанным представляется актуальным изучение реализации данного понятия в поэтическом идиолекте М. Цветаевой, одного из самых сложных для понимания, но и интересных русских поэтов, потому что, как показывает материал, она вносит свои изменения в значение существительного *тоска*. Отдельные наблюдения по этому поводу нами были опубликованы в [8; 9].

Так, только в поэтическом идиолекте М. Цветаевой зафиксировано около 100 контекстов употребления лексем с корнем *тоск-* [12]. Среди них существительное *тоска* в разных словоформах, в том числе и потенциальной форме мн. ч. род. п. *тоск*; глагол *тоско-*